

ВСЕГО СЕМЬ НОТ

Да простят меня уважаемые музыканты, но я до сих пор не верю, что семь нот, семь закорючек на линованной бумаге, вмещают в себя все многообразие звуков, всю музыку земли.

Что-то тут не так! Семь нот... Несколько гамм,,, Черно-белая лесенка клавишей. Бегущие по ней детские пальчики...

Они бьют в клавиши — ступеньки то сильно, то легонько.

И Бетховен становится то всемогущим и гневным, то слабым, как девочка, которая сидит в углу комнаты... Музыка льется в окна вечерним отсветом фонарей, прыгает с одной полки стеллажа на другую, шелкает стекла — и они отвечают ей легким прозрачным звоном.

Девочка поднимает глаза, смотрит на меня, улыбается. Я улыбаюсь ей в ответ, а ~~нигде~~ на моих глазах слезы: как же похожа она на свою мать!

Да, да... Когда эта полная женщина, встретившая меня на улице радостным криком: " Володя!" была такой же худенькой, слабенькой девочкой. У нее были огромные светло-голубые глаза, вздернутый носик, удивительно мягкая улыбка.

Может, из-за этой улыбки, из-за ощущения приветливости ко всем ребятам и девочкам нашей школы, ее любили. И никогда ни один мальчишка ее единственную не дергал за косы. Кажется, наша обходительность и вежливость ~~побуждали~~ ^{привлекали} ее. Во всяком случае, когда она стояла с девочками в коридоре, а потом оказывалось, что у всех девчонок, кроме ее, к платьям прилеплены бумажные хвосты, она ^в ~~во~~се не принимала это, как знак нашего уважения. Наоборот. Когда однажды Ленка Латынин по ошибке, пробегая мимо, хлопнул у самого ее маленького уха хлопнушкой, отчего многие девчонки бледнели и взвизгивали, она — и это удивило всех — звонко и радостно захохотала. И

45
глаза ее засветились ярко-ярко...

Я сидел у стола. А она, эта незнакомая женщина, отдаленно напоминая ту давнюю девочку из школы, с умилением спрашивала:

— Талант?

Я посмотрел на девочку и тихо сказал:

— Не надо бы при ней... Ты-то как играла!

— Да, было, было...

И она вздохнула.

Девочке играла...

Потом, уже после чая, разговора о жизни, о семье, я попросил девочку сыграть "Осеннюю песню"

— Чайковского? Сейчас! — охотно откликнулась она.

И не заметила, как мать отвернулась, счастливо улыбаясь, смахнула слезу и шепнула мне:

— Не забыл?

Нет, я ничего не забыл. И "Осеннюю песню" буду помнить до скончания дней моих. Ее "Осеннюю песню"... Да, ее! Потому что никто и никогда не играл "Осеннюю песню" так, как Вера. Даже высокочтимый Гилельс.

Девочка села на круглый стул, расправила платье. Я закрыл глаза. И тихо-тихо вошла в мою душу та осень, день рождения Веры, и мы — гости.

Вот мы входим в старый дом, чудом уцелевший после войны и потому одинокий и нелепый среди развалин. По крутой лестнице, ужасно скрипучей и темной, поднимаемся мы на второй этаж, держа в руках небогатые подарки. Звоним.

И толпимся у двери, то ли стесняясь ее родителей, то ли боясь

белой болонки, которая, к жетсы, готова выпрыгнуть из своей шубки.

И Верин отец, высокий, сухошавый, ласково улыбнувшись, просит нас пройти. А кругом — книги, книги... И я, еще не имевший дома ни одной книги — где уж было их держать, когда жили мы в бараке в шестиметровой комнатунке и на каждом метре этой комнатунки было по человеку? — и я не отводил глаза от книг. И отец Верн подвел меня к стеллажу и начал рассказывать мне о Станиславском и Ермоловой, Яблочкиной и Собинове.

Он был театральным режиссером. И был добрым и щедрым человеком. Он дал мне книгу. "Воспоминания" Вересаева. И я полюбил Вериного отца. И помню его.

Мать Верн тоже была необычайно интересным человеком. Маленькая, подвижная, с постоянно зажатой в уголке рта папиросой, она сверкала голубыми, как у Верн, глазами и рассказывала нам всякие смешные и увлекательные истории, которых знала великое множество. Пепел падал на скатерть. Она стряхивала его на пол, пускала к потолку дым и мы, раскрыв рты, следили то ли за дымом, то ли за ее руками, которые все время жели, летали, двигались...

И даже лампа под розовым абажуром, и старое пианино в углу — да, да, то самое, на котором сейчас играла девочка! — все было в этом доме новым и необычным.

Я полюбил этот дом.

Я бегал сюда через день. Не к Вере, нет! Хотя она мне очень нравилась.

Я бегал к ее отцу, к ее матери, к необычным книгам, которыми становилось все теснее на полках.

Но всегда я просил Веру сыграть мне "Осеннюю песню", потому что когда она играла, я чувствовал себя так, словно все леса, все реки, все листья или снега, летевшие за окнами, все дождики,

Звенящие там, на улице — словно все это дарила мне музыка, Верини легкие руки, добрые слова ее отца и голубые глаза ее матери.

Я улыбался Вере — и убежал.

Я шел по улице. А в душе моей звучало: "Па-па-ра-па-ра-па..."
Этой музыкой был заполнен мир.

Так продолжалось долго-долго. Два года я ходил в этот дом. Я перечитал половину книг. Я уже знал многое о театре, о музыке. И — о, нахальство юности! — в десятом спорил до хрипоты с Вериним отцом о системе Станиславского, о лжи и правде в искусстве, о Кистове / каков Лир! / и Глебове, Платонове и Климовой. Я громил Мейерхольда — а Верин отец смеялся и говорил:

— Юноша! Ах, юноша! Вы должны поумнеть. Это ваш последний шанс...

А Вера каждый раз словно чего-то ждала. Она провожала меня, взъерошенная, к дверям, шла со мной по улице, покорно кивая головой в ответ на мои призывы быть принципиальной и занять четкую позицию в спорах с консерватором — отцом...

Когда я прощался и уходил, Вера смотрела мне вслед так, что я спотыкался...

И каждый раз, когда я проходил, она играла мне "Осеннюю песню"

А на выпускной вечер / Вера тогда училась в девятом классе / — я ее не пригласил: я влюбился! И как. По уши. Сразу, на всю жизнь. Вся жизнь оказалась потом двумя месяцами блужданий по улицам, бесконечных разговоров, бессонницы и мечтаний.

Но это потом.

А тогда я пригласил на вечер Жанну.

И Вера, стоявшая у школы, увидела меня с Жанной, недоуменно застыла на минуту — и пронеслась стрелой мимо. И все изменилось.

А ночью, когда все мы, однокашники двадцать шестой гвардейской непромокаемой и непробиваемой школы, впереди, а сзади, метрах в двадцати, учителя и родители, мимо еще незастроенных пустырей, мимо первых высоких домов, распевая песни, дурачась, шли на проспект, у Веринного дома я поднял голову, увидел в ее окне розовый свет и услышал — а может, это только показалось мне? — "Осеннюю песню"...

... Девочка повернулась ко мне. Я подошел к ней. И сказал ей благодарно:

— А ведь ты волшебница!

— Волшебников не бывает, — серьезно ответила мне она.

— Бывают! — убежденно сказал я. И спросил у Веры:

— Бывают?

Она согласно кивнула головой. И вдруг сказала:

— Что-то Коли нет долго с работы. А я так хотела вас познакомиться.

— Ничего, я как-нибудь загляну...

Я распрощался и ушел.

И город, сверкая огнями реклам, зашумел вокруг меня.

Я шел и пел "па-па-ра-па-ра-па..."

Под ногами в лужах плавали синие листья. Голые ветви деревьев извивались над головой, чем-то неуловимо похожие на семь нот, семь закорючек на линованной бумаге неба...